

**Реальность конфликта в конфликте текстов:
источники российской истории XX в.¹**

Общепринятое сегодня понимание исторического источника как продукта целенаправленной человеческой деятельности, как явления культуры ориентирует исследователя на изучение всех источников той или иной эпохи как единой системы, как некоего гипертекста с обязательным учетом его внутреннего структурного, содержательного и жанрового разнообразия, особых условий и форматов возникновения, бытования и существования каждого из составляющих его компонентов, а также их взаимоотношений друг с другом. В процессе своеобразного межтекстового диалога, на который в значительной степени и опирается источниковедческая исследовательская практика, тексты, конечно же, могут быть информационно непротиворечивыми (как событийно, так и оценочно), фиксируя и подтверждая одни и те же факты и сопровождая их если не одинаковыми, то схожими или близкими оценками. Однако так происходит далеко не всегда, а скорее – очень редко: текстуальная многоголосица звучит обычно не как слаженный хор, а как и без того не стройное пение, периодически нарушаемое резким диссонансом.

Чем противоречивее эпоха, тем противоречивее и порожденные ею тексты. И какие бы усилия не предпринимала власть по их унификации в соответствии с некоей установленной идеологической нормой/ненормой, эта цель по сути своей недостижима, что убедительно подтверждает весь имеющийся на сегодняшний день корпус источников с его мощным неканоническим компонентом.

¹ Работа выполнена в рамках и при поддержке федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (мероприятие 1.2.1 – XIV очередь, гуманитарные науки), исследовательский проект «Мультикультурность российского региона как (де)стабилизирующий фактор исторического развития (Среднее Поволжье XIX – начала XXI вв.)».

Во время обострения разного рода конфликтов – социально-политических, ментально-психологических, информационно-коммуникационных, правовых и прочих, когда происходят кардинальные «сдвиги» и «сломы» в процессе развития общества и личности, в путях и способах функционирования власти и управления, в мотивах, правилах и стереотипах человеческого поведения, соответственно возрастает и количество резко противоречивых, конфликтогенных текстов, созданных противоположными сторонами. Эти тексты могут отражать – и действительно отражают – противоположающие интересы, устремления, настроения, цели и мнения акторов конфликта, выраженные в эксплицитной или имплицитной форме, но не теряющие от этого своей остроты.

Конфликтогенный текст – это текст, обостряющий конкретную ситуацию и провоцирующий или усугубляющий конфликт. По существу, потенциально конфликтогенным является любой текст – все зависит от условий его функционирования в культуре и особенностей его герменевтического прочтения. Читатель в процессе транскрибирования и интерпретации текста может многократно увеличить степень его конфликтогенности, а может и существенно уменьшить ее. Дерридаистское понятие письма как сочетания «голоса, молчания и шумов» предполагает «расслышивание» того, о чем в тексте, как кажется, вообще умалчивается, и того, что, казалось бы, даже отвлекает от основного содержания, но, с другой стороны, создает постоянный и естественный фон нарративного изложения, причем фон, потенциально и реально информативный, включая и открытый паралингвистический дискурс. Конфликт текстов неизбежно оборачивается конфликтом интерпретаций (П. Рикер)¹, возникающих в зависимости от специфики коммуникации авторского текста и читательского восприятия и культурного контекста, в котором эта коммуникация осуществляется. Очевидно, что интенсифицирующийся в условиях конфликтной ситуации процесс субъективации неизбежно влечет за собой усиленное «присвоение» текстов. Читатель не просто фиксирует действительно присутствующие в тексте или

¹ Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995.

даже кажущиеся, мнимые репрезентации конфликта, но сознательно или подсознательно выискивает их, приписывая тексту определенную тенденцию, надея на его определенными значениями и смыслами, субъективизируя его вплоть до бесконечности и порождая, таким образом, новые конфликтные ситуации.

С другой стороны, далеко не все противоречивые тексты реализуют свой конфликтный потенциал. Наличие противоречий в текстах лишь подтверждает неисчерпаемое богатство самой жизни и диверсификацию человеческого восприятия и способствует, в конечном итоге, получению более достоверной, более выверенной информации о прошлом. Результативный же конфликтогенный текст обычно далек от нейтральности, он носит негативный, а часто – и откровенно агрессивный характер, сознательно или бессознательно педалируя противоречивые позиции и взгляды сторон, определенно становясь на позиции одной из них в ущерб другой при определении промежуточных и окончательных целей и способов разрешения конфликта.

Степень конфликтогенности текста совершенно не зависит от его происхождения или жанровой принадлежности. Совершенно очевидно, что эскалации, скажем, социально-политического конфликта и размежеванию общества (или отмежеванию части общества) и власти может в равной степени служить как государственно-правовой акт, так и бардовская песня, как выступление политического деятеля, так и граффити на стене дома или подземного перехода. Конфликтогенный текст может быть эмоционально окрашенным, а может быть лексически очень сдержанным, что, однако, отнюдь не меняет его провокационной сути. В любом случае, он оказывает сильное воздействие на читателя, выполняя сознательно или бессознательно заложенную в нем конфликтоусугубляющую функцию.

XX век в истории России был богат на конфликты, и, в первую очередь, на конфликты социально-политические, повлекшие за собой череду других. Все они нашли отражение в источниках разного происхождения, авторства, типов и видов. Но, пожалуй, наиболее богатыми на конфликтогенные источники оказались раннесоветский и постсоветский периоды, когда острая политическая

борьба заставляла, а достаточная свобода слова позволяла власти и оппозиции вести ожесточенную полемику на просторах лингвистического дискурса. Удивительно, но в эту полемику оказались вовлечены и те, кого, казалось бы, трудно было там услышать, – дети и подростки, создавшие тексты такой высокой степени конфликтности, что в этом они ничуть не уступали взрослым, а иногда и превосходили их. Подтверждений тому множество, что может быть наглядно продемонстрировано, в частности, на примере «детских» текстов первых послереволюционных лет.

Усвоенные детьми в переломную для России эпоху 1910-х – 1920-х гг. элементы социального опыта взрослых и их собственные социокультурные практики породили особые, очень специфические «детские» нарративы с высоким конфликтным потенциалом, представленные теми жанрами детского вербального творчества, которые наиболее соответствовали детскому возрасту – сочинениями-воспоминаниями, дневниковыми и альбомными записями, анкетами, школьными рукописными журналами и «летописями», письмами, рассказами, стихами, сказками и пр. Анализ этих текстов позволяет сделать вывод о том, что при всем их жанровом и содержательном многообразии, при всей социальной неоднородности, а подчас – коренной противоположности происхождения, эти тексты многое объединяет. Это, прежде всего, их явная или латентная политическая заостренность, находящая выход в высокой эмоциональности и усиленной гиперболизации, пестрой революционной (или контрреволюционной) риторике, фантазийности представлений, символичности образов.

Явления трансформации детского сознания отмечались в России уже в годы первой русской революции и еще более – в период первой мировой войны. Уход на фронт отцов и их потеря вели к так называемому «социальному вакууму», утрате патриархальных функций семьи, переориентации детей и юношества с семьи на улицу, где и происходили процессы формирования личности ребенка, его «политизация» и «освобождение» и одновременно его «озлобле-

ние» и «огрубение»¹. Одновременно, как это не покажется парадоксальным, война стала неким «тонизирующим фактором», вырвав детей из тусклой обыденности, выведя их за пределы детской, наполнив их жизнь новой энергией, остротой и свежестью ощущений. Еще более усилили эти процессы бурные события 1917 г., когда «партийность впервые заметно проникла в стены средней школы», когда «не было ни одной семьи, где не обсуждались бы политические вопросы, не оценивались бы программа и тактика борющихся партий»². Оказавшись в пределах нового, насыщенного конфликтами политического пространства, дети пытались (конечно, не без помощи взрослых) разобраться в новых для них понятиях, событиях и явлениях, по-своему интерпретируя и фиксируя их в текстах.

Впервые политические маркеры мы находим в «детских» текстах, восходящих к письменной культуре «бывших». Особенно отчетливо проявились они в эмигрантской детской нарративной традиции – в воспоминаниях, автобиографиях и сочинениях детей «чужих», что во многом объяснялось самим происхождением и условиями создания этих источников. Прошлое быстро превратилось для детей-беженцев в «утраченный рай» вместе с потерянной Родиной и обретенным эмигрантским эпилогом. Они писали о первых годах новой России из своего эмигрантского далека с отчетливо выраженной политической пристрастностью и субъективностью³. Конфликтогенный потенциал таких текстов был чрезвычайно высок.

Что касается немногочисленных текстов, создаваемых детьми «из простых», то первоначально политические аспекты в них либо вообще отсутствовали, либо являлись весьма смутно и неясно выговоренными. Однако постепенно под влиянием «субъективизирующего» режима советские дети все чаще и чаще начинали изъясняться на языке официальной пропаганды, а в их текстах

¹ См., например: Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIII - XX вв.). М., 1997. С.193.

² Р.Г. Из жизни средней школы // Вестник воспитания. 1917. № 8–9. С.32–33.

³ Подробнее об этом см.: Сальникова А.А. «Геенна огненная»: детское восприятие раннего советского периода // *Ab Imperio*. Теория и история национализма и империи в постсоветском пространстве. 2002. № 3. С. 321–352.

все прочнее утверждались такие характерные черты «подлинно» советского текста, как наличие образа врага и не подкрепленный объективными реалиями экзальтированный оптимизм. Это, с одной стороны, стереотипизировало и унифицировало советские детские тексты, а с другой – придавало им конфликтный, иногда и прямо агрессивный характер: «В детстве у меня много было желаний учиться, но я не могла из-за своего безвыходного положения, я страшно завидовала буржуазному детству и буржуям, что они так счастливы и живут такой хорошей жизнью, а наш рабочий бедняк погибал от холода, голода и труда; трудился день и ночь и в трудах помирал... но я надеюсь, что жизнь бедняка расцветет»; «пришлось пережить всякую жизнь, в особенности при белой банде, угнетали нас, пайка не давали, все время притесняли и т.п... пришли наши товарищи, и мне стала жизнь светлая, хорошая»¹, «живя в нужде, отец не мог отдать меня учиться в гимназию, я же видела, как тяжело живет неграмотным, как их поработают, ставят на самую низшую ступень... переходя же в четвертый класс, вспыхнула революция, которая избавила меня и сделала свободной»².

При всем их многообразии, основная масса детских текстов содержательно и оценочно укладывалась в довольно стабильную противопологающую, откровенно конфликтную схему: «было хорошо – стало плохо» или, наоборот, «было плохо – стало хорошо»³. Причем в первые послеоктябрьские годы безусловно доминировало первое противоположение, вне зависимости от происхождения текстов. Добольшевистское прошлое представало в детских текстах «бывших/чужих» как красивая, добрая сказка, в текстах «своих» – как тяжелая,

¹ Рыбников Н.А. Автобиографии рабочих и их изучение: Материалы к истории автобиографии как психологического документа. М., 1930. С. 55, 59.

² Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета. Ф. 22. Ед. хр. 53. Л. 4.

³ Такой тип автобиографического воспоминания психологи называют «воспоминанием о переломном событии». Структура воспоминания о таком событии строится на содержательном сопоставлении того, что было «до события» и что произошло после него, при этом само события обычно бывает погружено «не в ситуативный, а в смысловой контекст истории жизни». (См.: Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология: Учебник. М., 2005. С. 313).

но привычная, хорошо освоенная реальность в отличие от не менее тяжелого, но такого чуждого и непонятного настоящего.

«Мы жили хорошо», – именно так начиналось большинство повествований детей «чужих». И далее: «Я теперь с радостью перебираю в памяти свои прошедшие детские годы», «тихо и мирно жилось мне, ни горя, ни беды не знала я тогда; часто вспоминается мне это последнее светлое время в России», «до 1917 года мы жили спокойно и мирно», «мое детство было тихое и счастливое». Подробные рассказы о «золотом детстве» в России являются «общим местом» практически всех детских эмигрантских воспоминаний: «У нас было собственное имение, и мы жили довольно роскошно... Наутро я просыпался всегда веселый, одевался, умывался, молился Богу и шел в столовую, где уже был накрыт стол... После чая я шел заниматься, решал несколько задач, писал две страницы чистописания и т.д. После уроков я шел гулять в большой сад; если это было летом, то я рвал большие букеты цветов и по звону колокола бежал домой. За обедом меня пичкали всякими котлетками, курицей и индейкой, и вообще всем, чем только было можно»¹.

Да простится нам столь пространный цитата, но никто лучше самих маленьких авторов текстов не способен был воссоздать всю прелесть такой привычной, удобной и комфортной, восхитительно спокойной, «рутинной» жизни. С приходом большевиков инерция повседневности была нарушена, причем неожиданно резко: «Утром папа, как всегда, ушел в полк, я же с мамой и братом сели пить чай. Вдруг пришел папа, страшно встревоженный, и сказал нам скорее собирать необходимые вещи и идти на вокзал, так как через несколько часов город будет занят большевиками. Мы захватили с собой только один маленький чемоданчик, остальные же вещи оставили в квартире, а также накрытый стол»².

Такое бегство от «накрытого стола» в прямом и переносном смысле, появление все новых и новых провалов в устоявшемся обиходе, завершившихся в

¹ Дети русской эмиграции. Книга, которую мечтали и не смогли издать изгнанники. М., 1997. С. 35, 39, 88 и др.

² Там же. С. 61.

конечном итоге окончательным разрывом с прошлым, вызывало у детей смутное чувство тревоги и неопределенности, «ощущение чего-то нового и потому страшного»¹. Время счастливой жизни прошло, «а после начались все ужасы, которые только писались в сказках», – пишет 12-летняя девочка. Дети с содроганием вспоминают, что было «потом», «после»: «Когда мне приходится вспоминать о прошлом, то мне становится страшно и печально», «это было тяжелое время, даже жутко вспоминать», «мне страшно вспоминать минувшее, такое свирепое и беспощадное, такое жестокое и немое», «кругом нас все изменилось, и некогда жизнь, бывшая такой светлой, переменялась и померкла»².

Грубое, жестокое вмешательство извне разрушило тот маленький спокойный мир, о котором дети вспоминали впоследствии с такой любовью и теплом и который с такой непосредственностью они пытались возратить. Именно такая Родина была им нужна, – новое, Советское Отечество они не понимали и не принимали, и этот конфликт был практически неразрешим («Я с удовольствием бы вернулся в Россию, но не в сов-Россию, а в единую, неделимую», «я уселся на пароход без всякого труда... Многие охали, стонали, что потеряли Россию. Мне Россию было не жалко, потому что я не видел там ничего хорошего»)³.

Дети «из простых» вспоминали свое «добольшевистское» детство, как время тяжелого, подчас непосильного труда, страданий и лишений: «когда я народилась, то это моих родителей не обрадовало, так как они уже имели детей в достаточном количестве», «у отца было 7 человек детей – только и слышно – хлеба нет», «жизнь моя скучная и обиженная, пьяный отец бил и колотил, чем попадая», «на фабрику поступил в 12 лет, и каждый день плакал», «работаю с 10 лет по чайным и ничего не понимаю»⁴. Но это была «их» жизнь со всеми ее лишениями и трудностями – обычная, привычная, а в силу своей привычности

¹ Там же. С. 170.

² Там же. С. 63, 64, 65, 74, 123, 152, 160, 169, 257, 327 и др.

³ Там же. С. 463, 473.

⁴ Зимилова Н. Лицо Орехово-зуювской рабочей аудитории // Коммунистическое просвещение. 1928. № 6. С. 43; Рыбников Н.А. Автобиографии рабочих и их изучение. С. 49–51.

и относительно их удовлетворяющая. «Погружение» в новые условия воспринималось большинством детей с неприязнью, и этот конфликт находил свое полное отражение в созданных ими текстах: «Школьная обстановка после улицы, свободной и просторной улицы, начала меня душить», «нечего было читать, и не на чем писать, да и не очень-то хотелось учиться на голодный желудок»¹. Сочинения детей рабочих и крестьян полны горечи и ужасов, которые принесла им «их» революция. «Я живу сейчас очень плохо, – рассказывает крестьянская девочка, – ничего нету, хлеба не вдоволь». Ей вторит сын рабочего-железнодорожника: «Дела идут все хуже и хуже, наступает холод и голод, и многие люди от этого умирают. И каждый вечер, когда ложишься спать, то благодаришь Бога, что прожил день и не умер»². Дети советского города и деревни распевали в те годы такие частушки: «При царе, при Николашке, ели пряники, барашки. Пришел новый режим – все нежрамши лежим»; «раньше была на столах жарена телятина, а теперь сплошь да рядом тухла кобылятина»³.

Социальная генеалогия и история жизни детей, создавших эти тексты, существенно отличалась друг от друга. Здесь наглядно прослеживалась встреча и конфликт двух социолектов (Р. Барт) и двух типов памяти – «неграмотных низов» и «образованных верхов». С годами политическая пристрастность детей постепенно нарастала, и ситуация конфликта в описании и осмыслении прошлого, в его характеристиках и оценках становилась все более осязаемой. Практически все проводимые советскими педологами в 1920-е гг. анкетные автобиографические обследования детей были организованы по принципу «Как я жил раньше и как я живу сейчас». Суть этих временных категории специально не оговаривалась, но была очевидна – границей между прошлым и настоящим должен был служить 1917 год. Крупномасштабное анкетное обследование школьников, проведенное к 10-летию юбилею Октября и охватившее более 120 тыс. детей по 23 губерниям Советской России, показало успехи советского

¹ Рыбников Н.А. Автобиографии рабочих и их изучение. С. 51.

² Спасская Г. Современная жизнь в детских сочинениях // Современный ребенок. М., 1923. С. 53–63.

³ Соколов Ю. Что поет и рассказывает деревня // Жизнь. 1924. № 1. С. 304.

режима в деле воспитания лояльных субъектов-подданных¹. Почти треть детей однозначно заявила, что всем довольна, что все изменилось к лучшему: «раньше был царь, а теперь нет, и потому жизнь стала лучше» (12 лет), «теперь мне лучше, и не надо ничего изменять» (13 лет), «чтобы всегда была такая жизнь, как сейчас» (12 лет)².

Однако не эти или не только эти удовлетворенно-восторженные ответы привлекают внимание современного исследователя. Примерно 3 % детей заявили, что они хотели бы «вернуть прежнюю власть», «не бороться с религией», «изгнать коммунистов», «вернуть старую школу»³. Таким образом, применяемая новой властью практика комбинации репрессий и индоктринации в процессе воспитания подрастающего поколения так и не оправдала себя до конца: дети не хотели «думать одинаково», и существующий конфликт не только между «своими» и «чужими», но и между обществом и властью отразился в советском детском гипертексте со всей полнотой. Это подтверждают, кстати, и приводимые детьми примеры «ненормативного» поведения «своих» – «плохих» большевиков, которые «живут хорошо», «много хлеба едят», «не возят тачки», которым «жить легко»⁴. Эти оценки отражали не только те настроения, которые сложились в 1920-е гг. у уставшего от войн, голодного и измученного народа, но и личные впечатления детей от встреч и общения с местными коммунистами, и были порождены реальным разнообразием складывавшихся конфликтных ситуаций.

Таким образом, в результате мы имеем дело с характерными образцами так называемого «расколотого», конфликтогенного гипертекста, когда одни и те же события трактовались представителями не только различных, но и однородных социальных групп по-разному, подчас – сугубо противоположно, отражая и воспроизводя ту сложную, конфликтную ситуацию, которая сложилась в

¹ Дети и Октябрьская революция: Идеология советского школьника. М., 1928.

² Рыбников Н.А. Как советский школьник оценивает существующий порядок // Там же. С. 139–140.

³ Там же. С. 147.

⁴ Познанский Н. Революция и дети // Вестник просвещения. 1923. № 1. С. 123–125.

самой постреволюционной России и находила отклик как внутри нее, так и за ее пределами. Подпадая под категорию «индивидуального прошлого», эти тексты предоставляют уникальную возможность реконструкции макроистории страны через микроисторию ее маленьких граждан. Причем в каждом конкретном случае в детских источниках присутствуют и балансируют память индивидуальной жизни и память социальная. Большинство детей искренни и весьма категоричны в своих оценках, открыты в проявлениях безграничной любви или беспредельной ненависти. Ведь понятие о темной стороне добра или светлой стороне зла для них пока еще не существует.

Когда-то Ф. Ницше писал, что человек будущего – этот тот, у кого окажется «самая длинная память». Дети конца 1910-х – 1920-х гг. – это взрослые последующих десятилетий. От того, что они поняли и запомнили в детстве, как восприняли и истолковали эту информацию, как сумели сохранить, воспроизвести и зафиксировать ее и передать потомкам, зависела не только степень адекватности представлений о революционной «эпохе катастроф» (И. Нарский) в России. Исследование созданных ими текстов является необходимым компонентом выявления и интерпретации истоков и сущности тех конфликтов, которым еще только предстояло возникнуть в советском и постсоветском обществе и непосредственными участниками которых этим детям в будущем суждено было стать.